

– Десять часов уже, вставай...

Обхватив горячий чугунок полотенцем, Ганька несёт его на стол.

– Иван! – она кладёт на стол хлеб, отрезав полбулки, и режет эти полбулки на ломти.

– Иван... Десять часов – опоздаешь.

Босиком выбегает в огород и приносит четыре луковицы. Сами луковицы ещё малы, но перья уже больше ножа, и Ганька говорит себе, что худшее уже позади, теперь уже не помрёшь: пошёл лук, скоро пойдут огурцы, а там картошка – доживём. Ганька гордится своей картошкой. Не считая семенной, на еду осталось ведер восемнадцать-двадцать. До новой должно хватить. На прошлой неделе ведро дала Ане Гребешковой. У неё их четверо, как выживут – один бог знает. Говорит, ни одной картошины не осталось. А они – один одного меньше. Тюрю едят. Что им ведро? Съедят за один присест. Но – своя кровинушка ближе к телу. Может, кто ещё подаст.

Из сеней, из железного ящика, Ганька приносит жёлтый кусок сала. Соскабливает соль, с ножа соскабливает в кружку – пойдёт на заправку, запах будет. Сало последнее. Только мужику. Сало не будет есть – до шахты ноги не дотянет, а там работать надо. Это ж благодарение Господу эта шахта

– бронь дали, а то б забрали на фронт мужика, и пришёл бы нам всем каюк.

Обжаривает два тонких кусочка. Сало трещит на сковородке. Горячие брызги покалывают Ганькины руки, пока она переворачивает его.

Обжаренные кусочки выкладывает между ломтями. Наскобленный жир сливает в борщ. Поддерживая тряпкой горячую сковородку над чугуном, борщом моет её. Борщ шипит на сковородке. Пар охватывает ганькино лицо. Мысли возвращаются к картошке: «Упустили время, можно было бы нарезать верхушек с ростками от едовой картошки – ведра два-три да целичку раскопать бы сотку, тогда бы и двух кабанчиков можно было взять на откорм».

– Иван, да вставай же ты, Христа ради! Сколько я буду над тобой причитать?!

Над умывальником моет лук, обрезает корешки. Белые головки вкладывает в хлеб, к салу. Ему с собой. В миске быстро взбивает два яйца и сливает их в борщ. Также быстро крошит перья лука. Нож взлетает перед самыми Ганькиными пальцами с мелодичным стуком. В миску наливает борщ и посыпает зелёным луком. После этого идёт будить мужа.

Он слышит всё, что говорит жена, но по тону её знает, что есть ещё время, вставать рано, как и она знает, что он слышит её и не встаёт, потому что время есть, и можно ещё поспать самую малость.

Ох уж эта ночная смена!

Иван спит на кровати, и все трое ребят спят рядом с ним. Ганька стелет на сундуке ватное одеяло и старшего переносит на сундук – старший спит беспокойно и может разбудить братьев. К сундуку подставляет стул, чтоб не упал во сне. От спящих тел в комнате тепло и уютно. Ганька ощущает, как, проводив мужа, ляжет на тёплое, нагретое его телом место.

Иван спит высоко на подушке. Рот его приоткрыт, руки раскинуты. Ладони большие и тёплые. Она шепчет ему, тронув за плечо:

– Вставай, пора уже...

– А? – отвечает он приоткрытым ртом и просыпается.

– А-ах! – Иван крепко потягивается и сбрасывает ноги на пол. Всем своим телом Ганька чувствует, как не хочется ему вставать, как гудит у него голова – только прилёт.

Но идти надо. Она понимает, как зол он сейчас, его будут злить любые её слова, всё равно какие, добрые и недобрые, и ничего не говорит ему. И не говорит до тех пор, пока он не проходит на кухню и там, умывшись, окончательно приходит в себя.

Тогда Ганька говорит ему:

– Садись, Ваня, поешь, да и я с тобой заодно поем, тоже кручусь с утра, перехватить некогда.

А потом провожает его. Выходят во двор. Полная луна стоит над посёлком. И тишина такая, что слышно, как в соседском дворе сверчок настраивает свою ночную скрипочку.

– Оставайся тут, – говорит Иван приглушённым голосом, – пошёл я, закрывайся, следи за ними...

И лёгкими шагами уходит в темноту. Ганька возвращается в избу. Лампочка горит ярким белым светом. Выключи такую, и она погаснет не сразу, а будет гаснуть медленно, постреливая.

Окна закрываются изнутри толстыми щитами из листовенных плах. Ганька по очереди поднимает каждый из щитов на подоконник и укрепляет их засовами. Засовы пропускает в железные скобы, вбитые в косяки.

Закончив работу, Ганька чувствует, как в избе стало глухо и как-то тревожно.

Она наливает воду в почерневший от времени цинковый таз, начинает мыть ноги. Вздёргивает подол платья, осматри-

вает незагорелые выше колен ноги и вздрагивает. Ей чудится, что на неё кто-то смотрит.

Она сбрасывает подол и прислушивается. Дети спят и глубоко дышат во сне. На окнах ставни снаружи, щиты внутри. Засовы в скобах.

Дверь в сени отворена. Наружные закрыты, одна и другая. Одну она закрыла только что, а которая выходит в огород, закрыта с вечера. Сама запирала. Ганька вытирает ноги и, осторожно ступая, на цыпочках подходит к двери. Никого. Она слышит, как стучит её сердце. Шире открывает дверь. Осветился дальний угол. Она выходит в сени. Прислушивается – никого.

– Странно, – сама себе говорит Ганька.

Ей хочется сказать что-нибудь вслух, но у неё нет готовых слов, и она не говорит ничего. С шумом выдыхает задержавшийся в груди воздух и негромко кашляет, прочищая себе горло. Слышит своё покашливание, произнесённое, как ей кажется, совсем чужим для неё голосом, Ганька вдруг совершенно другими глазами увидела вещи, которые занимали сени, мимо которых она пробегала ежедневно и не замечала их, а теперь все они приобрели вдруг новое, совершенно определённое для себя значение, приобрели запах, и Ганька почувствовала, что чердак пахнет пыльной паклей и табаком, детское корытце, которое висит на гвозде, пахнет хозяйственным мылом, переносной Иванов плотницкий ящик с торчащими из него ручками молотка, стамесок, долота и голубым гвоздодёром пахнет сосновыми опилками.

Ганька спускается по лестнице и, ощущая подошвами босых ног шершавость сенного пола, идёт в избу, натывается на цинковый тазик с водой, сливает воду в помойное ведро, берёт ведро и через вторую дверь выходит в огород. Луна горела тихо, и неподвижная тишина всё также стояла над посёлком.

Нежное и печальное чувство кольнуло Ганьку в самое сердце. Бесконечно далёкое, довоенное, теперь уже совершенно нереальное время всплыло из глубины Ганькиного сознания и поплыло, покачиваясь, к себе в бесконечность.

Родительский дом, живы отец и мама, и вот уже на носу сороковник. Сорок лет – бабий век! Самой не верится. Только вчера собиралась жить – и половина жизни прожита. Ах, если б не эта война!

Ганька выливает из ведра в помойку, ставит ведро на тропку, пусть проветривается, дужка падает на ведро с металлическим звоном. Свет гаснет за Ганькиной спиной. Ганька оборачивается. Крышка погреба откинута. Значит, свет погасили там, в ямке. Ноги Ганьки слабеют, а спина становится горячей. «Иван!» – хочет закричать Ганька, но мысль о том, что тот, в ямке, знает, что Ивана нет дома, именно поэтому он и в ямке, он выследил его уход, поражает Ганьку.

Бежать в избу и закрыться там? Но что стоит здоровому мужику да ещё с топором сломать эту входную дверь? Он перепугает детей! Он убьёт меня! Не успею – убьёт!

Ганька хватает обитую железом крышку погреба и захлопывает её. При этом она успевает заметить, как тот уже на лестнице, он хочет вылезть, на нём шахтерская каска, на каске головка аккумулятора. Она блестит при луне. Он не спешит. Знает, что она одна дома, знает, уверен, что вылезет и убьёт её. Теперь убьёт точно, потому что она увидела его и опознает.

Она изо всех сил давит коленками на крышку, слышит, как каска постукивает о крышку – он упирается в крышку головой, хочет поднять её вместе с Ганькой.

Ганька левой рукой шарит вокруг творила, где-то должен быть старый замок, он без ключа, можно было бы просунуть в петли. Но куда он подевался? И тут до Ганьки доходит простая мысль о том, что тот, кто сейчас там, в погребе, просто забросил его куда подальше.

Но, наконец, какой-нибудь заваливший колышек, палка какая-нибудь!

Она слышит, как тот, в погребке, перебирает ногами по лестнице, устраивается поудобней, и тогда он сможет горбом поднять крышку и убьёт её.

Крышка между тем начинает приподниматься, Ганька, ухватившись обеими руками, толчком пытается вернуть её на место. Она слышит треск ломающейся ступеньки и слышит, как падает тело мужика.

Ганька припоминает, что в зарослях дикой конопли, которой зарос погреб, лежат несколько колышков к помидорной рассаде. Она нащупывает один из них и вставляет в металлические петли. Ганькины руки трясутся. Помидорный колышек кажется ей неубедительным укреплением. Она бежит в сени, берёт из переносного плотницкого ящика синий гвоздодёр и заменяет им ненадёжный колышек.

Ганька прислушивается, прислонив ухо к крышке погреба. В погребе тихо, будто там и нет никого. Теперь, когда она понимает, что он не может её убить, по крайней мере, не может её убить в ближайшее время, Ганька задумывается, что же ей делать дальше.

Бежать в милицию? Ночью через весь посёлок от спящих детей. Ждать утра? Где его ждать? Идти к спящим детям? Закрыться и сидеть? А как вылезет? Может, у него с собой лопата? Лопатой пара пустяков пробить дыру, обрушить кровлю. Может, потому так тихо? Может, он всю копает?

Мужик, что ему стоит вышибить тесовую дверь в сенях, тогда уж точно убьёт – зачем закрывала? Мысль о том, что он всё ещё может выбраться из погреба и убить, и очевидная возможность этого пробежала по дрожавшему Ганькиному телу и заставила действовать. Обогнув избу, Ганька выбегает на улицу, ещё хорошо не понимая, зачем она делает это, и только

выбежав, и увидев, что на улице никого нет, осознаёт, что она ищет помощи и надеется увидеть кого-нибудь на дороге.

Слабость и бессилие, как бывает во сне, охватывает её. Она стоит одна на пустынной улице. Луна безучастно и ровно освещает её, босую и простоволосую. Люди спят, закрыв окна щитами из плах.

Николай Чудовских дома. Она стоит перед избой Чудовских и припоминает, как видела Николая, он шёл после первой смены с топором под рукой. Ганька бежит к Чудовским под окно, открывает ставню и барабанит в раму.

– Кто? – спросил изнутри Николай.

– Николай, у нас вор! – кричит Ганька и тут же слышит, как скрипнула, открываясь, дверь, загремел откиннутый засов, и увидела выскочившего Николая в исподнем.

– Где? – спрашивает Николай, оглядываясь кругом, что бы такое ухватить.

– Я его в погребе закрыла. Вышла из ведра вынести. Света не было, а потом смотрю – свет горит и ляда откинута. Он хотел вылезти, я его на ломик закрыла, там лестница сломалась, а то б он меня убил.

Николай, наконец, ухватил в сенях дубовый четырехгранный засов, вскинул на руке – надёжная штука.

– Пошли!

– Николай, штаны надень!

Вышла Катя, надевая на ходу халатик на ночную рубашку. Кинула Николаю брюки. Он впрыгивает в них, путается одной ногой и чуть не падает. Как был босиком бежит через улицу к Ганькиному погребу. Катя на ходу застёгивает халатик.

– Петьку Сычуга поднимите!

На Катю:

– Лампу принеси! Получит он у меня картошку!

Николай говорит громко – разогревает себя.

Сося, прибежал Сычугов.

– Там?

– Куда он денется?!

Упёршись ногами и изготовившись, Николай выдёргивает гвоздодёр из петель и застывает, как охотник перед норой.

В погребке тихо. Николай левой рукой поднимает крышку, правой держит засов.

Никто не выскакивает.

– Свет дай!

Катя подаёт Николаю шахтовый фонарь и отходит к сеним.

Николай светит в яму. Мужик сидит на перегородке. По нему видно, мужик после смены. На нём рабочий костюм и каска. К поясу, сзади, пристёгнута батарея, аккумулятор на каске, но свет выключен. У ног мужика лежит мешок, в нём с ведро картошки. Мужик не шевелится.

– Вылезай, – кричит ему Николай злым с придыханием голосом, – суд тебе будет. И матерится.

Мужик продолжает молчать.

– Вылезай – убивать будем!

Человек поднимает грязное, в угольной пыли лицо и смотрит вверх, затем медленно и тяжело встаёт. Также медленно и тяжело поднимается по лестнице. Когда голова его поднимается над поверхностью погреба, человек снимает каску, обнимает лысеющую голову и говорит тихо, но твёрдо:

– Убейте меня.

Сычугов первым узнал в мужике Гребешкова:

– Ба! – кричит он, – да это же Гребешок!

Гребешкова узнают все.

– У него же их четверо и все мал-мала меньше, – говорит Катя.

– Четверых налепить он сообразил, а кормить их кто теперь должен – Пушкин? – бунтует Николай, – ты у кого крадёшь? Прочитать гада!

И замахивается на него засовом. Ганька обеими руками хватается за засов и всем телом нависает на нём.

– Николай, не бей его! Пусть он идёт домой. Не бей его! Сычугов сопит и не понимает, бить Гребешкова или не бить.
– Пусть он идёт. Не бейте его. Пусть идёт...

Гребешков сидит на погребке, не понимает, о чём они говорят, его как будто парализовало.

– Идите домой... Идите... – Ганька помогает Гребешкову подняться, но сил её не хватает.

– Прочитать бы надо, – разочарованно говорит Николай.

С Сычуговым они поднимают Гребешкова с земли и ставят его на ноги. Вид у Гребешкова как у пьяного мужика.

– Иди уж, – говорит ему Николай, – да молись на Ганьку.

Гребешков переступает негнушимися ногами и идёт на помидоры.

– Туда идите, – Ганька направляет его на дорожку и подталкивает в спину, – идите туда, там улица.

Каску Гребешков держит в руках. Его покачивает.

– Дрючком его надо было, гада... – говорит ему вслед Николай.

Ганька плачет. Слезы, тёплые как парное молоко, текут по её лицу. Она сгребает их ладонями, отбрасывает в стороны, они бегут ещё сильнее. Ганька рыдает и закрывает лицо руками. Её трясёт. Катя подходит к Ганьке и, стараясь унять её рыдания, обнимает соседку и прижимает к своему телу. Кто-то в темноте задевает ногой пустое ведро. Ведро катится по дорожке и гремит.

– И когда только всё это кончится, Господи?! – говорит Ганька сквозь слезы.

Все понимают, говорит она о войне.